

Здесь, где-то в Алексеевском равелине, сидел еще Нечаев, выданный Швейцарией, как уголовный, но с которым обращались как с опасным политическим преступником. Ему уже не суждено было больше увидеть свободу. В том же равелине, гласила молва, сидело несколько человек, заключенных на всю жизнь по приказу Александра II за то, что они знали дворцовые тайны, которых другие не должны были знать. Одного из них, старика с длинной бородой, видел в таинственной крепости один из моих знакомых.

Все эти тени восставали в моем воображении; но мои мысли останавливались в особенности на Бакуanine, который, хотя и просидел два года на цепи, прикованный к стене, в австрийской крепости после 1848 года, и потом, выданный русскому правительству, прожил еще шесть лет в Алексеевском равелине, вышел, однако, из тюрьмы, после смерти железного деспота, более энергичным, чем многие его товарищи, которые все это время пробыли на свободе. «Он выжил все это, - говорил я самому себе, - так и я не поддамся тюрьме».

Первым движением моим было подойти к окну. Оно было прорезано в виде широкого, низкого отверстия в двухаршинной толстой стене на такой высоте, что я едва доставал до него рукой. Оно было забрано двумя железными рамами со стеклами и, кроме того, решеткой. За окном саженях в пяти я видел перед собою внешнюю крепостную стену необыкновенной толщины; на ней виднелась серая будка часового. Только глядя вверх, мог я различить клочок неба.

Я тщательно осмотрел камеру, в которой, быть может, мне предстояло провести несколько лет. По положению высокой трубы монетного двора я догадался, что моя камера находится в юго-западном углу крепости, в бастионе, выходящем на Неву. Здание, в котором я сидел, было, однако, не бастионом, а то, что в фортификации называют редюит, то есть внутреннее, пятиугольное, двухэтажное каменное здание, поднимающееся несколько над стенами бастиона и заключающее два этажа пушек. Моя комната была казематом, предназначавшимся для большой пушки, а окно - его амбразура. Солнечные лучи никогда не проникали туда. Даже летом они терялись в толще стены. Меблировку составляли: железная кровать, дубовый столик и такой же табурет. Пол был покрыт густо покрашенным войлоком, а стены оклеены желтыми обоями. Чтобы заглушить звуки, обои были, однако, наклеены не непосредственно на стену, а на полотно, под которым я открыл проволочную сетку, а за ней слой войлока. Только под ним мне удалось нащупать камень. У внутренней стены стоял умывальник. В толстой дубовой двери было прорезано запиравшееся квадратное отверстие, чтобы подавать через него пищу, и продолговатый глазок со стеклом, закрывавшийся с наружной стороны маленькою заслонкою. Через этот глазок часовой, стоявший в коридоре, мог видеть во всякое время, что делает заключенный. Действительно, он часто поднимал заслонку глазка, причем сапоги его жестоко скрипели всякий раз, как он по-медвежьи подкрадывался к моей двери. Я пробовал заговорить с ним, но тогда глаз, который я видел сквозь стеклышко, принимал выражение ужаса, и заслонка немедленно опускалась. И через минуту или две я опять слышал скрип, но никогда я не мог добиться ни слова от часового.

Кругом царил глубокая тишина. Я придвинул табуретку к окну и стал смотреть на клочок неба. Тщетно старался я уловить какой-нибудь звук с Невы или из города на противоположном берегу. Мертвая тишина начинала давить меня. Я пробовал петь, вначале тихо, потом все громче и громче: «Ужели мне во цвете лет любви сказать: прости навек», - пел я из «Руслана и Людмилы».

- Господин, не извольте петь! - раздался густой бас из-за двери.

- Я хочу петь и буду.

- Петь не позволяется, - басил солдат.

- А я все-таки буду.

Тогда явился смотритель, начавший убеждать меня, что я не должен петь, так как об этом он вынужден будет доложить коменданту крепости и так далее.

- Но у меня засорится горло и легкие отучатся действовать, если я не буду ни говорить, ни петь, - пробовал убеждать я.

- Уж вы лучше пойте вполголоса, про себя, - просил старый смотритель.

Но в просьбе не было надобности. Через несколько дней у меня пропала охота петь. Я пробовал было продолжать пение из принципа, но это ни к чему не привело.

«Самое главное, - думал я, - сохранить физическую силу. Я не хочу заболеть. Нужно себе представить, что предстоит провести несколько лет на севере, во время полярной экспедиции. Буду делать много движения, гимнастику, не надо поддаваться обстановке. Десять шагов из угла в угол уже не худо. Если пройти полтора раза, вот уже верста». И я решил делать ежедневно по семи верст: